

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



ДЖОРДЖ ИЗ ДИНКИ-ДЖАЗА

ПОВЕСТЬ

1

И всю-то войну погода не баловала наш северный городок — зимами морозы за сорок стояли неделями, и бревенчатая пальба, особо слышимая ночами, на улицах, состоявших сплошь из деревянных домов, походила не то чтобы на канонаду, но на упорную перестрелку плохо вооруженных войск.

Однако в мороз хотя бы солнце светило.

Откуда-то из самого поднебесья взглядывалось оно в нас сквозь морозную мглу, этакую приглушенную кисею, что ли, удивлялось, наверное, народной выносливости, особенно поражаясь невымораживаемости ребятни, которая в школу, по причине низких градусов, не ходила, но от которой черным-черны были склоны оврагов, где, кто на лыжах, кто на санках, а кто и на простых, за неимением прочего, фанерках катился, летел, мчался, взбираясь потом опять наверх, раскрасневшись, распарясь даже, никакого морозу не страшась и, в общем, его побеждая своей неостановимой энергией.

Ну нет, время от времени раздавались вопли, у кого-то белели щеки или нос, значило это легкое обморожение, и тогда бедолагу оттирали снегом, и

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького, многих других отечественных и зарубежных наград. Удостоен премии Президента РФ в области образования. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.

он — а чаще она — сбегали домой из неостановимого детского шевеленья, восклицаний и горячего внутреннего жара.

В общем, легкие жертвы случались.

Но иногда морозное солнце взирало на эти горки с печалью, даже, возможно, тоскливо, размышляя про себя, наверное, что непонятен все же народ, даже дети которого невымерзаемы в крепчайшие холода и, вместо того чтобы отсиживаться в полутеплых избушках, дрожать там, берут салазки и лезут на гору, чтобы помчаться навстречу оледенелому воздуху.

Неужто же вызов ему бросают — пристальному и мерзлому оку, наблюдающему за ними? Может, копошеньем своим, вовсе не безболезненными морозными ожогами, воинственными кликами и воплями поражения они что-то такое, даже им пока неведомое, утверждают?

Нежелание сдаться? Неумение отсиживаться в безопасности? Стремление собираться и выходить, когда другим невоготу?

В общем — жить посреди невозможности. Барабаться в замороженном царстве. Противиться силе, которая не терпит таких противленцев?

2

Но это — зимой. А зимы, понятно, кончаются, как и войны — рано или поздно. Но лето наступает не сразу. Между зимой и летом, как между летом и зимой, есть времена, которые не назовешь ни весной, ни осенью.

Весна и осень прекрасны, но в этих погодных переменах много дней непоймешькаких.

Морсит дождь. Потом он льет. Потом снова что-то капает. А когда и дождь утихает, в природе стоит какая-то гниль, что ли.

Погода похожа на простуженного человека в это время. Температура вечером, днем и утром. Голова болит, душит тоска, ни на что глядеть невоготу. Вот и природа наша присеверная: хандрит, температурит, на нас, людей, глядеть не желает. Может, расстроилась, что в зиму народ не выморозила? И ведь летом не высушит — слишком много для этого влаги в нашей родной земле, дождями и слезами напоенной до самого доверху.

Ну так вот — долгие эти переходы от щелкучих морозов к редкой жаре были унылы, угнетающи, бесконечны, и от них зависело настроение всякого человека — большого и малого.

Для взрослых непогода, как мне кажется, второстепенна и малозначима. Если человек бежит на работу с утра, весь день что-то делает, а к вечеру торопится домой, чтобы своих деток накормить, обиходить, ума им и разума поддать, как полешков в печку, ему по сторонам таращиться некогда, он всё больше соображает о хозяйстве или о близких.

Худо-то как раз бывает малым. Это они, отучившись школьную смену, смекают, как истратить оставшееся время. То ли почитать, то ли с друзьями повозиться. Зимой-то вот горки — крутые, трудные, и пологие, легкие, будто эти горки на задачки похожи. А вот в слякоть, в непогоде, в хмарь, когда глянешь только в окно, и жизнь кажется такой же бесконечной, как этот дождь, тоской.

Неужели же всё вот так и будет, пока не вырастешь: тоска, тоска, тоска, ну, иногда книжки и всегда школа, которая тоже ведь, если поразмыслить, похожа на непогодицу — то мороз, то слякоть, изредка только выпадет что-нибудь светлое и яркое, вроде случая какого необыкновенного или ученической нечастой победы самого над самим же собой...

3

И все-таки был, был яркий разрыв в серых тучах для нашего малого брата! Это — кино.

Оно, кино это самое, не баловало народ разносолами. Одну и ту же ленту крутили месяцами. И по этой простой, в общем, причине кинофильмы на-

ши отечественные ни в какие иные времена так дословно — в буквальном смысле слова! — не были известны народом, нежели тогда.

И в начале начал — народом маленьким, детьми.

Фильм “Чапаев” мы смотрели столько раз, сколько позволяло время. Его крутили везде. Казалось, он переходил из одного кинотеатра нашего города в другой, — а кинотеатров-то было не больше пятка! — и, когда заканчивал этот круг почета, снова возвращался в тот, где был сначала. Так что “Чапаев” шел всегда, каждый день, наверное, всю войну, если не на взрослых сеансах, по мере старения кинокопий, то на детских. И среди школьников были истые чемпионы, которые глядели “Чапаева” по тридцать раз!

Я и сам-то глядел его не меньше раз десяти...

Конечно, объявления, какой фильм и где идет, печатались в куцых местных газетках военного времени. Да как они могли попасть в наши руки? Так что широко работало сарафанное радио.

Может быть, даже в каждом классе, не говоря про школу, были ребята, которые точно знали, какое кино где показывают. А сеансы у нас начинались везде одинаково: в 10, 12, 14 — и так каждые два часа начинался новый сеанс, хотя фильм шел, конечно, не два же часа. Во-первых, к нему всегда прибавляли киножурнал “Новости дня”, а в оставшееся время зал проветривали.

О, эти кинозалы! Как отличались они от всех иных! Сделаны они были под небольшим углом, чтобы те зрители, которые сидят сзади, оказались хоть самую чуточку повыше, и те, кто впереди, не заслоняли бы им экран. Когда ты входил в кинозал и начинал искать свой ряд, приходилось идти в горку, пусть пологую, некрутую, или спускаться вниз, и это всегда доставляло огромное удовольствие.

Когда еще совсем маленькому, до войны, отец и мама объявляли мне, что пойдем в кино, я всегда представлял этот слегка наклоненный пол. Была у меня тогда еще одна тайна. Почему-то всякий раз, когда родители брали меня в кино, то ли потому, что я не всё понимал, о чем там, на экране, говорили, и поэтому немножко скучал, то ли оттого, что шил перед тем воду, особенно сладкую газировку в фойе кинотеатра “Октябрь”, я всегда хотел там писать.

Раз или два мама, извиняясь, поднимала весь ряд и выходила со мной в туалет. А потом снова всех поднимала и возвращалась со мной. Кто-то при этом чертыхался, да разве что поймешь в темноте-то кинозала? Да, в общем, имели, наверное, право чертыхаться-то, несмотря на то, что разбирали все-таки — раз ведут малыша, значит, по нужде.

Потом мама шепнула мне, когда я запросился в очередной раз — мол, сделаем это на месте.

И я пописал прямо на пол. По ходу кинофильма его герои то ли кричали, то ли стреляли, но никто из соседней-зрителей не услышал моего скромного, негромкого, совсем мальшовского журчанья, а сам водопад был почти стерилен — не зря говорят, что детскую мочу даже пьют некоторые больные, чтобы вылечиться.

Впрочем, это лирическое отступление я позволяю себе с двумя конкретными целями: до войны, мальшом еще, я ходил в кино с мамой и папой, а в конце войны — один, потому что вырос, отец воевал, а мама работала в госпитале, ну и я, конечно, уже не писал на пол, имеющий наклон в сторону экрана — за это бы огольцы, сидевшие рядом, просто прибили.

Новое это время было — конец войны. И мы были — новое детское племя, отдававшее войны.

Совсем другое мальчишество.

4

Наш брат крутился по всем кинотеатрам, напоминая собой путешествие “Чапаева”. Зная, что где показывают, двигали туда, как сговорившись, по двое, по трое или поодиночке.

Однако самым детским оказался старый, обношенный, последний среди неважнецких кинотеатров с громким именем “Прогресс”.

Был он первым в нашем городе, когда-то единственным и, таким образом, самым знаменитым. Построили его еще в начале века, и слово это — прогресс — что-то такое означало тогда особенное для граждан нашего городка, идущих глядеть кино. Что-то такое обещало — вот, мол, подумайте-ка, даже кино к нам пришло, в нашешское захолустье, то ли еще будет!

В него, как рассказывала мама, до войны валил по вечерам весь город — особенно летом, за билетами стояли очереди, но “Прогресс” был невелик, мест на сто, не более, и далеко не всем выпадала удача попасть на сеанс, и тогда некоторые, видать, особенно жаждающие прогресса, садились на лавочки возле кинотеатра, а гуманные контролерши приоткрывали двери — и всё, что говорили герои, музыка, восклицания, объяснения в любви и слезы — в общем, все звуки, которые помещаются в киноленту, были слышны далеко окрест. Так что, прислушиваясь к ним, можно было все-таки догадаться, о чем идет речь в фильме, и еще больше зажелать его увидеть.

И вот тут надо уточнить, что “Прогресс” стоял в городском старинном сквере.

Это был чудесный скверик на пересечении двух самых проходных улиц. Там размещались большие скамьи, их скрывали разросшиеся кусты сирени, свет и так-то редких уличных фонарей пробивался сюда лишь слабыми бликами, и местечко это славилось среди тех, кто постарше, ходит парами и тайком целуется в полумраке.

Похоже, им было даже интереснее в почти киношном полумраке, зато при полной свободе слушать речи героев и музыку.

С одной стороны, скверик как бы получался продолжением кинотеатра, с другой — удобным залом ожидания на следующей сеанс, если билеты все-таки куплены. Ну, а если и не куплены, то все равно вечером здесь было тесно, слышались смешки и приглушенные речи парней, которых вот-вот заберут в армию, и девушек, которые их или быстро забудут, или, напротив, станут долго ждать — дождутся ли?..

Наше детство было окрашено вот этой во всем неуверенностью. Что будет с отцом? И что будет на ужин? И что ждет в школе? И взрослые люди рядом с нами, особенно если это старший брат, — что с ним станет, когда заберут на фронт?

Только в одном были уверены все до одного, если только задумывались об этом: мы победим! Может, еще поэтому мы смотрели и смотрели этот старый, изношенный, но как верный солдат бессменно служивший нам кинофильм “Чапаев”? Он хоть и тонет там, наш бессомненный герой, Василий Иванович, но мы-то побеждаем!

5

Однако вернусь в любимый кинотеатр.

Он был когда-то шикарным, потому что был первым и ни с чем не сравнимым. Потом у него появились конкуренты: повыше, попросторнее, многоместнее.

И он сник. Так, наверное, всегда бывает с первыми и с первым — с людьми, с делами или с сооружениями. Их обгоняют, превосходят, оттачивают, и первые становятся последними, звездность забывается, слава меркнет и покрывается тенетами забвения.

“Прогресс”, и так-то деревянный, да еще и с двумя печами, пусть кафельными, но явно дореволюционными, с маленьким кинозалом, где располагались дореволюционные же неудобные креслица, садясь в которое, ты соприкасался одеждой с соседом; с кассовым залом, который и залом-то грех было называть — просто небольшое пространство перед единственным полукруглым окошечком, где, выдавая билет, кассирша никогда не показывала свое лицо — руки, деньги, билет, и всё, — так вот, “Прогресс” этот, наш любимый, ветшающий старик, который не сносили только, видать, из-за чьей-то жалости, имени своему давно уже не соответствовал.

Но был нами искренне любим. И теперь я вновь вернусь в последнюю военную осень, бесконечную, унылую, затяжную, гнилую, когда на душе серо и тоскливо так, что не знаешь, как быть, куда ткнуться, к чему припасть, чтобы не забыть от душевной смуты.

В тягучем однообразии непогоды время от времени мы с другом моим и однопартником Вовкой Крошкиным, плюнув на все обязанности и на то, что дома же кто-то ждет, сразу после уроков срывались в “Прогресс”.

Учились мы в третьем классе, стукнуло нам по десять лет, и души наши, похоже, искали все новых сильных впечатлений, и немало мы уже извели для детских-то лет: у Вовки погиб на войне старший брат, мой отец воевал, а я часто ходил в госпиталь, где служила лаборанткой мама, да и оба мы с Вовкой выступали в разных госпиталях с концертами и видели, ясное дело, сполохи грозного бедствия.

В общем, были мы нормальным детским народом холодных военных времен, оба же время от времени получали талоны дополнительного питания в столовке № 8, где подкармливали всякую худобу и малокровников, к которым тогда относился лично я, — но всё это за сильные впечатления мы не считали.

То была просто жизнь, такая же, как у всех, а сами мы считали себя вполне обыкновенными и, можно даже сказать, благополучными ребятами. Например, у нас бывали деньги на кино.

А билет на дневной сеанс в “Прогресс” стоил рубль.

Много это или мало? Затрудняюсь ответить. Вскоре после победы произошла денежная реформа, когда сто старых рублей приравняли к одному новому. Выходило, что вместо одного рубля билет должен был стоить всего одну копейку. Но этот билет стал стоить гривенник. Значит, цена выросла в десять раз и гривенник стал немаленькой деньгой.

Но это потом, позже.

В последнюю военную осень рубль был доступен и мне, и Вовке. И хотя мы не таскали рубли пачками, но один или даже два, а то и все три в кармане моем паслись, то исчезая, то возвращаясь вновь и делая меня человеком, по крайней мере, способным попасть на детский сеанс.

У Вовки эти колебания были резче. Иногда неделями у него в кармане жила вошь на аркане. Это так шутили, когда не было денег. И тогда я Вовку звал в кино на свои. С уговором, что и он меня когда-нибудь позовет повосхищаться киноискусством за его счет. Так оно и было пару раз. Да что за денежные расчеты в нежные-то года!

6

“Прогрессом” управляли три женщины и невидимый нам киномеханик. Одна женщина, руки которой мелькали в кассе, тоже оставалась, в общем, невидима, где-то за кулисами событий. Механик, как ему и полагалось, сидел в кинобудке. А две женщины, худенькие, шустрые, крикливые, когда надо, и довольно похожие друг на друга, были настоящими хозяйками “Прогресса”. Одну, билетершу на входе, звали просто тетя Муся, а вторую — Нипална, что на самом деле означало: Нина Павловна.

Вообще-то, великая тайна есть в том, как и почему дети перекраивают имена взрослых, да и товарищей своих, укорачивая их, даже укрощая, буд-то зверей каких, упрощая сложное, облегчая шевеленье своего языка, сокращая буквы и звуки, а то и вовсе заменяя имя кличкой, выражающей нрав человека, его привычки или занятия.

Что касается имен тети Муси и Нипалны — тут дело простое, поскольку обращался к ним больше народ малый, часто еще и неважно говорящий, не ораторы какие-нибудь, чтоб с выражением и подобострастной улыбкой на лице выступать, тщательно выговаривая имена-отчества уважаемых хозяек уважаемого кинотеатра.

С первых же своих самостоятельных приходов в “Прогресс” я заметил, что в прихожей, где с одной стороны было окошечко кассы, а с другой дверь

в фойе кинотеатра, пасутся какие-то совсем малые дети. Даже еще не школьники. Бывали среди них и девочки, совсем какие-то обнищальные. Летом в линялых и нечистых платящих до пяток или, напротив, вызывающе коротких, совсем, видать, младенческих. Но больше толклось тут огольцов — тоже довольно ободранных, в стоптанных сандалиях на босу ногу. Пару раз я замечал, что сандалеты продырявлены с самого носа, и оттуда торчали грязные большие пальцы.

Скажу честно, мне не нравился этот народ. Мальчишки шепотом матюгались, современно не стесняясь девчонок, даже самых маленьких, а те слушали всякие эти выражения привычно, без всякого возмущения, кажется, еще миг — и они сами этак же завываются.

Зимой эта кучка, которая то разрасталась, то убывала, выглядела молчаливее и сумрачнее, и маленькие матершинники вроде бы примолкали, жадными глазами оглядывая каждого, кто выходил в прихожую и направлялся за билетом к кассе.

И без слов выходило, что если у тебя рубль в кармане и ты идешь в кино, значит, живется тебе вполне прилично. И эти ребятишки тебе завидуют. А иногда так если и не волком на тебя глядят, то голодной собачонкой — точно.

От сеанса к сеансу кучки этих ребят, похоже, менялись числом своим. Это я уж потом узнал. Поутру, к первому сеансу приходило совсем немного. К двенадцатичасовому — побольше. А уж в два часа целая толпа собиралась, но к этому сеансу двигался народ послешкольный, можно сказать, денежный. И малышне приходилось ждать.

Суть же их ожидания была в том, что они, как бездомные собачонки, подбирались с третьим звонком к двери и жалобно просили:

— Тё Мусь! Тё Мусь! Тё Мусь!

И означало это — пусти, тетя Муся, в кино бесплатно. Те, которые к первым сеансам собирались, проходили всегда, потому что с утра-то половина зала, если и не больше, пустовала. Вот добрая, как выяснилось, тетя Муся и пускала эту мошкарку на свободные места. И в двенадцать пускала, дождавшись, пока третий звонок отзвонит — чтоб садились эти цыплята уже в темноте, мол, их и не видно, неясно, когда проскочили!

Ах, тетя Муся, добрая душа! Всё-то она боялась, что вдруг придут и на нее контролеры, проверят, у всех ли детей есть купленные билеты, а если таковых не окажется, насядут на нее и станут терзать за такое безобразное нарушение финансовой дисциплины.

Но тогда, поначалу-то, я всего не знал и понять не мог, чего тут топчутся эти малышки, умеющие по-взрослому матюгаться и по-детски кланчить, и как сочетается высокое искусство интересного кино с этими чуть ли не бродягами, с плохо одетыми бедолагами — и откуда они только берутся-то?

7

В общем, обстановка такова: небольшой присеверный город, старый деревянный кинотеатр, последняя военная осень, два третьеклассника, жаждущих ярких впечатлений, и кучка маленьких попрошаек-безбилетников.

И еще одно важное обстоятельство. Невидимое нам тогда и оттуда, из далекого теперь-то нашего детства.

А дело в том, что к концу войны нашим фильмам, начиная с “Чапаева”, пришлось подвинуться. Наверное, это было справедливо, хотя бы уж потому, что тех же “Веселых ребят”, “Свинарку и пастуха”, “Двух бойцов”, “Сердца четырех”, “Жди меня”, “Машеньку” вкупе с “Юностью Максима” и даже “Вратарем” народ пересмотрел вдоль и поперек. Вот тут кто-то где-то, наверное, и подумал, что надо бы чуточку веселья прибавить. И на экраны выпустили почти сразу “Серенаду Солнечной долины” и “Большой вальс”. А потом еще и “Джорджа из Динки-джаза”, “Тетку Чарлея”.

А еще, наступаая, наши войска брали трофеи. И среди них были кинофильмы. Немецкие и не немецкие. Но мы в этом не разбирались. А в кино-

театрах стали показывать переведенное, конечно же, на русский язык иностранное кино с субтитрами, то есть русским текстом внизу экрана. Кино идет, лента крутится, артисты что-то говорят на своем наречии, а ты успевай не только глядеть, но и быстро читать, это не для малограмотных!

Вот такой произошел поворот.

И революция, и гражданская война хотя и остались далеко позади, все-таки были нашенскими. Дома как у нас, улицы похожие, и лица обыкновенные, русские, уж не говоря про одежду. И сапоги, и рубахи, и пиджаки всякие, ну и гимнастерки, и бабьи платки, полушубки да телогрейки.

А там! Фраки! Смокинги! Музыка и танцы, смех и шутки, да еще на лыжах носятся, каких у нас-то и не видывали. А одеты как! А говорят! С чувством, с толком, с расстановкой — было в наше время такое выражение.

В общем, народ попер в кинотеатры на “Серенаду Солнечной долины” в сентябре, на “Большой вальс” в октябре и на “Леди Гамильтон” в декабре сорок четвертого года.

Дело дошло до того — и откуда это мы только узнавали-то; наверное, все же от взрослых — что из пяти кинотеатров в трех, по крайней мере, сразу и шла эта волшебная “Серенада” при одной-то всего копии, то есть при одной имевшейся киноленте.

Как же ухитрялись-то? А очень ловко! Ставили на дежурство автомобиль. Это раз. А два — сдвигали сеансы. Например, в “Октябре”, самом лучшем из всех кинотеатров, сеанс начинался в 12 часов дня. А вот в нашем миллом “Прогрессе” в 12 часов 50 минут. Две первых части картины к этому времени в “Октябре” уже открутили. Их тотчас отдавали шоферу, и он за какие-то считанные минуты доставлял их в “Прогресс”. Там начинался сеанс. А оттуда показанные части перевозили в третий кинотеатр. И из него — обратно в “Октябрь”.

Короче говоря, сразу крутили одно и то же кино в трех местах, потому что залы ломились от народа, желающего полюбоваться чужой — волшебной, веселой, изящной — совсем, увы, не нашенской жизнью.

Мы с Вовкой не раз видели, как выходит народ из темного зала после такого кино. Тетки в телогрейках, в платочках темных оттенков, натягивая их на волосы, причитали, охали, а некоторые утирали слезы — будто выбиралась не из обыкновенного кинозала, а выныривали из светлых вод, из незнаемого прежде волшебного мира, возвращались из благодатного обморока, из сказки, кем-то придуманной — не для них же! — но им, в одолжение, показанной: неужто же бывает такое?

Тетки с трудом приходили в себя — я замечал, что взрослые женщины, не то что, к примеру, девчонки, приходят в себя с трудом или с неохотой, и как-то даже недовольны, что теперь вот следует выползть из кинотеатра на свет Божий, обратно в обыкновенную жизнь, без всякой музыки, сказок и эдакой-то красивой любви.

Дело дошло до того, что билеты стали продавать не только перед сеансом, а заранее, даже на другой день, и у кинотеатров начали клубиться очереди. Одно дело очереди военных лет — в ожидании, когда хлеб подвезут. Это были очереди беды и нужды. А теперь выстраивалась очередь за билетами в кино!

Где-нибудь к обеду кассирша окошечко свое захлопывала и вывешивала табличку “Все билеты проданы”, и перед сеансом постепенно стали крутиться редкие поначалу и бедноватые на вид спекулянты. Да уж какой такой капитал заработаешь на киношных билетах?

8

Купить билеты на детский сеанс, когда шла “Серенада Солнечной долины”, нам удалось далеко не сразу. Дело в том, что один-то рубль стоил детский билет. А если на то же самое место продавался билет взрослому, с него драли целую пятерку! И кинотеатру было выгоднее пускать взрослых вместо детей, даже если они шли на утренние сеансы.

Нам, людям низкого росту, вопреки всякому смыслу, приходилось уступать взрослым, если они шли на детский сеанс. А разве мало было и в войну-то всяких бездельных старух? Еле шамкают, а туда же — про любовь им давай. Давай вальсы Штрауса!

Но вот все-таки мы в зале. Начало сеанса в два часа сорок минут, открутились “Новости дня”, и, замирая от предстоящего восторга, заранее приоткрыв рты, мы с Вовкой вслушивались в первые диалоги прекрасных собой героев и в первые мелодии неизвестной доселе музыки, называемой джаз.

Я даже не обратил внимания, как очень маленькая и легкая тень мелькнула к двери, ведущей из зала на улицу, громко звякнул длинный крюк, которым запирали дверь, и в распахнутую светлую щель ворвались несколько мальчишек.

Молча они кинулись в зал, толкаясь между рядами, будто пескари в песчаное дно, но не было им здесь места, ясное дело, всё занято и без них, и они передвигались между рядами, расставленными тесно, кому-то наступали на ноги, и слышался писк и чьи-то восклицания.

Кто-то ползком, извиваясь, должно быть, по-пластунски продвигался под креслами, и вот один такой, находчивый, высунул голову между моих ног и прошептал:

— Мальчик, подвинься!

Я послушался, подвинулся, как мог, и он втиснулся на мое кресло, больно прижав меня к перильцу.

Всё это время Нипална бегала по залу и кричала:

— А ну выходите! Выходите, говорю!

Дверь она распахнула совсем, а сеанс ведь был дневной, поэтому уличный свет мешал глядеть кино, да и фильм-то вовсе шел, и там что-то происходило, что-то говорили и что-то пели, но никто уже не следил за любезным кинофильмом, к которому так стремился каждый, кто купил билет, а все глядели, как мечется Нипална на фоне светящегося экрана. И все это уже вызывало в зале справедливый протест.

А Нипална кричала:

— Сейчас остановлю кино! И всех сдам! Куда следует!

Этот, который зажал меня в узком дореволюционном кресле, крепко воцепив табачищем и тихо, но внятно матюгался. Срывалась, видать, его операция. Слишком уж обозлилась Нипална.

Мне же он шептал:

— Молодец, оголец! Сиди тихо! А то худо будет!

Наконец Нипална крикнула:

— Всё! Включаю свет!

Подбежала к своему пульту и, не останавливая фильм, осветила зал.

В это самое мгновение, не в секунды, а в ее доли, парень, прижавший меня, сорвался с места и легким кошачьим броском вылетел в дверь. За ним кинулись еще три или четыре фигуры.

Зал засвистел им вслед, затопал ногами.

Нипална ловко пробежала от своего пульта к двери, накинула крюк, крикнула в зал, продолжающий смотреть на экран:

— Бессовестные! Ну, бессовестные!

Сеанс продолжался.

Из кино мы выходили, как и те тетки, которых я разглядывал, — сначала притихшие, ошарашенные чужой жизнью, ее красотой и прелестями. И вся толпа выбиралась примолкшая — первые десять и двадцать шагов молчаливая и даже понурая. Потом люди начали как-то вполголоса переговариваться, перешептываться. Шу-шу-шу — висело над толпой.

Но еще шагов через десять народ возвратился к себе на родину, в сумеречный осенний день, в лужи, в слякоть, как бы вздохнул глубоко, освобождаясь от наваждения и красивой, но чужой жизни, и начал дышать, жить дальше, думать о своих делах, разговаривая громко, не стесняясь, хоть оставаясь всё еще под впечатлением и кратко оценивая увиденное:

— Эк, живут-то!

- Да то ж кино! Сказка!
- Мировецкая кинуха!
- А горы-то, горы!
- А музыка! Как ее?
- Джаз! Джаз!

Но все это уже рассуждения дома, на родной земле, а еще точнее — в родной грязи.

Мы с Вовкой тоже что-то лопотали друг другу, и вдруг я увидел кучку мальчишек нашего роста и чуть повыше. Они взирали на проходивших спокойно, а на нас даже надменно, и, проходя мимо одного из них, я учуял резкий табачный запах — похоже, это был тот, кто прижал меня к перильцу, усевшись со мной на одно сиденье.

Мальчишка, стоявший у него за спиной, спросил:

- Ну чо, Севка, попытка не пытка?
- Да Нипална осатанела! — ответил он как-то нерадостно.

Но тут мы сделали свои три-четыре шага, и я уже не услышал продолжения разговора.

- Что это за ребята? — спросил я Вовку.
- Шайка огольцов, — кратко, но непонятно ответил он.
- Ну? — подтолкнул его я.

— Нет у них рубля, — ответил Вовка. — Вот они и прорываются в зал. Забесплатно. Ты разве не знаешь? Когда кино старое и места есть, Нипална даже не ругается. Навесит крюк обратно, и все. А тут закричала! Потому что садиться некуда.

Мы сделали несколько шагов, и я скептически заметил:

- На папироски деньги есть, а на кино нет.

Вовка пожал плечами.

— Папироски они стреляют. Выпрашивают. Или окурки подбирают недокуренные. А в кино нужны просто деньги.

Вот он, рубль-то! Всего один! Невелико богатство, но если его нет, приходится прорываться.

Я к Севке и его огольцам тогда еще никак не относился. Ни осуждал их в душе, ни хвалил. Просто есть такие, и есть. У меня-то рубль был. И мне не требовалось проламываться в киношку силой.

“Серенаду Солнечной долины” мы с Вовкой посмотрели в “Прогрессе” два раза в сентябре и три раза в октябре “Большой вальс” про композитора Штрауса.

Третий раз я, правда, смотрел “Вальс” один, и вот по какой причине. Ночью у меня заболел зуб, утром я сказал об этом маме, она заставила меня одеться пораньше и отвела в зубную поликлинику. У нее там имелась знакомая врачиха по имени Софья Антоновна, такая немолодая уже и улыбочивая женщина, которую я все равно боялся, но та выстренько и совсем без боли разделалась со мной — только пару раз и проведя по зубу своей бор-машинкой — ну и чудище же все-таки это: жужжит у тебя во рту, будто черный какой-то жучина к тебе залетел, а как зуба коснется, так взвизгнет, взвизгнет, взвизгнет! И не больно, да ужас берет!

В общем, она меня полечила быстро, без всякой очереди, да и мало было к ней народу с самого-то утра, и скоро отпустила — так что мог бы я еще на второй урок спокойно попасть. Но дорога моя шла мимо “Прогресса”, и ноги сами завели меня в закуток возле кассы, и оказалось, что билеты есть! На самый первый сеанс! Точнее, женская кисть, совершенно обычная, без всяких украшений, болтала в полукруглом окошечке единственным голубым билетом, а голос сообщал почти торжественно:

- Последний билет! Последний детский билет!

Я не удержался, быстро сунул руку в карман пальто, нащупал рубль и стал обладателем последнего билета.

Сердце мое часто билось. Я был радостно возбужден. Во-первых, я пойду вместо школы в кино, и ситуация позволила мне слегка согрешить. Но грех был невелик, это ясно. Ведь Софья Антоновна могла провозиться со мной и дольше, так что, значит, мама допускала мой прогул. Во-вторых, мне

повезло, и я купил последний детский билет. Не мог же я устоять, в конце-то концов!

Фойе “Прогресса” уж было полно народа, хотя предстоял лишь первый сеанс — все-таки Штраус и его вальсы в последнюю военную осень очень требовались публике — и пожилой, пенсионной, страдающей бессонницей, и совсем зеленой, которой некуда деться даже с самого утра.

Напротив двери, как всегда, толкались несколько девчонок, вернее, их было только трое, и все просто соплячки, явные дошкольницы. “И куда только матери глядят”, — подумал я недовольно, используя, наверное, бабушкину манеру ворчать под нос, когда она была чем-нибудь недовольна. Правда, я это не проворчал, а просто ворчливо подумал.

Может быть, я первый раз со вниманием оглядел этих девчонок. Хотя это и нелегко было сделать. Они стояли спиной к оконцу, которое проделано в этом проходном помещении под самым потолком, а поэтому лица их одинаковы и круглы, но в подробностях неотличимы. И платки на голове, когда-то белые, тоже одинаковы. Может, потому что я был еще мал, и все девчонки казались мне похожими друг на друга, а эти так просто одинаковыми, одного рода, если они и отличались друг от дружки, то длиной подола.

Я уже знал, что еще минуту-другую, и как только зрители перейдут из фойе в зал, девчонки начнут кланяться: “Тё Мусь! Тё Мусь!”

И наверняка контролерша их не пустит, зал полон, ведь я купил последний билет.

Мне стало как-то не по себе. Странно все получилось. Ведь лиц этих троих девчонок я разглядеть не мог, все они выглядели одинаково для меня, да и вообще-то кто они для меня такие и какое мне до них дело?

Но что-то свербило меня, какое-то невнятное чувство, похожее на жалость к подшибленному воробью, например, ворошилось во мне, и приходилось собирать какие-то силы, какой-то в себе переступить порожек, чтобы отодвинуть незнакомых, да к тому же и неопрятных девчонок в сторону. Хотя они и так в стороне стояли. Только смотрели на меня в три пары глаз. Ничего не просили, ничего не говорили — смотрели.

И тут со мной произошло невероятное.

Из окошечка кассы вдруг послышался женский голос.

— Последний детский билет!

Я аж вспотел. Как! Я только что купил последний билет. Вот он, в руке. Она же говорила!

Но тетка из кассы вновь произнесла:

— Последний билет! Сеанс начинается!

И я, сам не понимая, как и почему это происходит, спросил девчонку, которая стояла ко мне ближе:

— Хочешь в кино?

— Еще бы! — ответила она, совершенно, похоже, не смутившись.

Тогда я нащупал в кармане второй рубль, шагнул к кассе, уверенно протянул его и взял в ответ узкий голубой билет. Протянул его девчонке.

Она сорвалась с места и тут же оказалась по ту сторону прохода.

И сразу затерялась среди людей, в шевелящейся толпе, медленно вползающей в кинозал.

Не успел я переступить порог фойе, как сзади послышались голоса девчонок, оставшихся в проходнойшке:

— Тё Мусь! Тё Мусь!

Но тетя Муся твердо сказала:

— Полный зал, девочки! Аншлаг! Убейте, не могу!

Я обернулся. Две тени сперва отступили от контролерши, потом двинулись к двери. Им, похоже, не повезло.

9

Но не знал я жизни, нет.

Когда я нашел свое место, оно оказалось совершенно неудобным — крайним в ряду, ближним к выходу. Девчонка, которой я купил билет, надо же, сидела рядом, сняв платок, и наконец-то я разглядел ее лицо.

Круглое, глаза серые, курносая. И не такая уж она оказалась маленькая, на первый-то класс тянула точно. Но что-то было все-таки в ее лице необычное. Под глазами сиреневые полукружья, как у больной, и сами глаза какие-то взрослые, недоверчивые. Она глядела на меня отчужденно, неласково, даже зло. Сказала совсем не по-детски:

— Только я тебе ничего не должна.

Я пожал плечами. Что на это ответишь?

— И не жди, — она проговорила, — я тебе спасибо не скажу.

Вот тут я уже рот открыл, пораженный. Будто со мной не шмакодавка сопливая говорит, а злобная старуха. И эта старуха в мальшовском обличе тут сказала такое, что я весь съезжился.

— Ваш брат и должен нас в кино водить. Конфетами угощать. Морсами поить.

Я кивнул. Отчего, не знаю. От смеха? От возмущения? От удивления? Наверное, от всего сразу.

А она рассмеялась и сказала:

— Мальчик, давай поменяемся местами. Я хочу с краю сидеть.

Тут началось кино. После “Новостей дня” на минутку включили свет, чтобы опоздавшие могли спокойно найти свои места. Но когда шли такие фильмы, а билеты продавались все до единого и наступал аншлаги, как иногда выражалась тетя Муся, опоздавших не бывало.

Однако правила приходилось выполнять. И через полминутки свет снова погас и загрела музыка — все-таки кино про Штрауса.

Девчонка сидела крайней в ряду, ближней к выходу, я, конечно, безмолвно поменялся с ней местами, все еще мысленно пережевывая взрослые слова, которые произнесла эта пигалица, ругая себя, что не смог ей хоть как-нибудь ответить, хоть крикнуть, что ли, от удивления, но все мои удивления были еще впереди.

При первых же звуках вальса Штрауса — я даже и не заметил, как это произошло, — она исчезла со своего кресла.

И тут я увидел приоткрытую дверь.

Девчонка стояла в проеме и держала крюк, которым дверь затворялась, а перед ней, одна за другой, проскакивали фигуры — раз, два, пять, много...

Потом дверь притворилась, и в полумраке я разглядел, что девчонка дверь закрыла на крюк.

То ли слишком гремела бравурная музыка, то ли был первый, утренний сеанс и Нипална куда-нибудь в сторону отлучилась, хотя бы и чайку попить — почему нет? — то ли потому, что дверь открылась тихо, без грохота падающего оземь крюка, аккуратно, и распахнулась нешироко, да и быстро заскочили в зал безбилетники, — но все этой проказнице с полукружьями под глазами сошло.

И тут рядом со мной уселся кто-то большой и взял девочку на руки. Я обернулся и едва не ахнул: это Севка.

Он проговорил довольно громко, никого не боясь и даже как бы пояняя свое здесь законное появление:

— Молодец, Симка! Операцию провела успешно!

И вынул из кармана конфетку в бумажной обертке. Девчонка развернула ее и громко захрустела.

Потом же, не оборачиваясь к Севке, похлопала его по щеке и опять по-старушечьи проговорила:

— Ах ты, мой бандитик! Да чего же не сделаешь для тебя!

Я сидел оледенелый. Никакой Штраус не лез в меня. Никакого наслаждения я не испытывал.

Тупо смотрел в экран, и никаких мыслей меня не посещало. Так, какие-то отрывки из обрывков. Все это кружилось, как в калейдоскопе, который был у меня, совсем маленького, еще до войны, а потом разбился.

Но я не мог не замечать, что происходит рядом — при всем своем желании.

А рядом парень по имени Севка довольно громко мурлыкал в такт вальсам, которые неслись с экрана, и получалось так, что он эту музыку знает

наизусть и без всяких ошибок. И хотя я давно забыл бесславное время своего музыкального просвещения, и без этого было ясно, что у Севки, по крайней мере, есть слух.

А еще он наслаждался! И Симка наслаждалась! И это надо было уметь! Я просто смотрел кино и радовался ему, а они будто бы им насыщались.

Будто этот “Большой вальс” был вкуснейшим пушистым тортом, и эти двое — мальчишка и маленькая девчонка — жадно ели его, глотая огромные куски — только что не давились.

— Ну что, добряк, божья коровка, — вдруг обратилась ко мне Симка. — Не жалеешь, что позвал? Билет купил?

— Так это он? — спросил Севка, в бликующем свете оборачиваясь ко мне.

— Он! — ответила девчонка.

И тогда Севка протянул мне потную, липкую свою руку и даже не сказал, а приказал:

— Держи пять! От имени и по поручению выражаю благодарность!

Что мне оставалось? Принять пятерню странного парня.

10

После фильма соседи мои исчезли первыми и мгновенно — ведь место их было ближе к выходу. Только крюк громыхнул.

Я подхватил свой портфель, который стоял у меня под боком на креслице, — ведь я же в школу шел — неторопливо, пропуская вперед поспевающих, вышел на улицу, пожмурился, поморгал после темноты кинозала и отправился на уроки, раздумывая, на какой же из них я теперь попаду.

Севка и Сима торопливо выбежали из моих забот, но это мне только показалось.

Не успел я отойти от “Прогресса” полквартала, как сзади послышались чьи-то бегущие шаги, и я, уступая дорогу и не поворачиваясь, принял вправо и даже с тротуара сошел. Не то чтобы в лужу, но в скользкую, ненадежную глину.

В тот же миг я увидел, что нахожусь с краю целой толпы во главе с Севкой. Сима рядом, те две девчонки, которые ждали в прихожей “Прогресса”, мальчишки, в том числе и тот, который что-то спрашивал в прошлый раз у Севки, хотя мальчишек было сейчас поменьше. Но все равно, человек семь-восемь против одного, и хоть я не понимал, чего они хотят, заволновался.

— Слушай, парень, — начал было Севка, но одна из девчонок поправила его:

— Мальчик...

— Слушай, мальчик, — повторил он, вроде смягчаясь, — ну, ты это...

Чего-то он хотел мне сказать или спросить, а брякнул совсем другое:

— Ну ты который раз это кино-то смотрел?

— Третий, — сказал я, теряясь.

— Третий! — крикнул Севка удивленно, и вся эта толпа расхохоталась.

Совершенно мне непонятно, чему она так радовалась.

— А я четырнадцатый! Сечешь? И всё задаром. И вот вся эта шобла тоже раз по десять — точно! Каждый! И тоже за так!

И они снова радостно засмеялись.

Непонятно, впрочем, чему. Я ответно улыбнулся: чего тут говорить?

И Севка, видать, приступил к главному:

— А ты че, богатый?

Я его не понял. Почему я богатый? Откуда он взял? И ничего не ответил от удивления, просто пожал плечами.

— Деньги-то у тебя есть? — спросил Севка довольно смиренно.

Я полез в карман, пошарил в нем и достал еще один замятый рубль.

— Дай-ка посмотреть, — попросил Севка совершенно любезным тоном, я протянул ему бумажку, он, будто невиданную картинку, стал разглядывать шахтеров, нарисованных на рубле. При этом он мельком глянул на тротуар — но ни справа, ни слева никогошеньки не было.

Тогда он разом переменялся. Сунул этот рубль себе в пальто и велел:
— Ну давай! Выворачивай карманы! У тебя, поди, и еще есть? Где-нибудь в загашнике.

Я понял, что пришла беда. Но как из нее выкручиваться, не понимал, не умел.

— Нету у меня больше, — сказал я. — Гляди!

И вывернул карман своего тоненького пальтеца. Посыпались какие-то бумажки, крошки. Потом я вывернул второй карман.

Наверное, я рассчитывал на истину: мол, видите, денег нет, чего еще? А может, на сознательность или даже на жалость: откуда, мол, я такой же, как вы, а то, что билет в кино купить могу, так это же иногда, не каждый раз.

Но Севка, похоже, плевал на истину, на сознательность и уж тем более на жалость.

— А ну-ка, — сказал он, — выворачивай другие карманы.

И мне пришлось, распахнув пальто, сначала вывернуть пустые карманы брюк, потом школьного моего пиджачка. Во внутреннем кармашке у меня лежала маленькая расческа, я и ее достал, показал Севке. Он молча забрал расческу и сунул ее вслед за рублем в свое пальто.

Всё это время портфель я держал между ног, в глине, и в этом не было ничего хорошего, но что поделать.

Я стоял перед этой толпой, будто какой-то арестант: руки растопырены, мол, нет ничего, видите сами, а вывернутые карманы одежды торчат в разные стороны.

— Ну ладно, — наконец мирным голосом проговорил Севка. — Нет так нет. Завтра принесешь. А сейчас засунь обратно. Карманы-то!

“Как это завтра? — думал я, приводя себя в порядок. — Почему завтра? С какой стати?” Наконец, я взял в руки портфель.

Севка, уже готовый развернуться, вдруг как будто споткнулся. Спросил:

— А что у тебя там?

— Учебники, — сказал я растерянно, — тетрадки.

— Тетрадки? — осклабился он как-то хищно, будто чуя что-то.

И резко дал ногой по краю моего портфеля — был тогда такой прием. Портфель плюхнулся в глину, и все та же Сима быстро наклонилась над ним, щелкнула замочком и вытащила из портфеля газетный сверточек. Утром-то я не поел, потому что зуб болел. Вот мама и вернула мне кусок белой булки, слегка помазанной маслом. Чтобы я после зубной в школе его съел.

— Ха! — воскликнул Севка огорченно. — Невелика добычка!

А Сима уже терзала мою булку, рвала на кусочки, раздавала их всем по очереди. И мой растерзанный портфель лежал в глине, хорошо еще, что учебники и тетрадки из него не выпали и не замарались.

В школу я пришел, когда начинался последний урок, да и на него я опоздал, потому что в туалете еще минут пятнадцать оттирал тряпкой, отмывал водой свой жалкий портфелишко, подвергшийся изуверству.

II

Вовке я рассказал про свое приключение сразу же. Самым неудобительным местом оказалось повествование про то, как я купил билет девчонке. Наверное, я и излагал-то его дурно, путаясь и заикаясь, потому что с точки зрения здравого смысла это ни во что не укладывалось.

Зачем? Почему? При чем тут какая-то девчонка? И какая тут может быть доброта? Разве ты какой-нибудь принц с карманами, полными рублей? Не хватало еще выйти перед кинотеатром и крикнуть: “Эй, гольтьба всякая и детки-котлетки! Идите в кино забесплатно! Пока я добрый, всем до одного покупаю билеты!”

— А что? — спросил я Вовку, — неужели это совершенно невозможно? Если в зале только сто мест? А детские билеты по рублю? И надо-то всего сто рублей?

Он хихикнул как-то пренебрежительно, будто опытный старик. И вообще весь этот мой день, начавшийся с зубной боли, вышел каким-то путаным. Будто я ни с того ни с сего проиграл какую-то игру, в которую даже не вступал, вдруг взял да и опозорился, хотя вел себя самым благородным образом. Да еще, выходит, и должен им, неизвестно за что. Да ведь и кому им — тоже неизвестно. Севке, что ли? Или всей этой толпе? Как это можно оказаться должным целой куче ребят, если я их вообще, можно сказать, не знаю. Кого-то раза два видел, да и то случайно, а кого-то вообще первый раз.

После школы я сидел дома, готовил уроки, но ничего-то у меня не клеилось, и всякие такие симпатичные воспоминания про “Серенаду Солнечной долины” или “Большой вальс” вообще рассыпались в прах, упали серой пыльной кучкой в моем минувшем дне.

Скажу больше, даже сам наш добрый кинотеатр по имени “Прогресс” мне стал как-то малопривлекателен, хотя ведь он ни в чем не был виноват.

Да тут и еще одна свалилась напасть. Ночью меня кто-то кусал, и я здорово чесался. А когда утром пожаловался маме, она, сама еще не прибранная, принялась рассматривать мою постель, да как крикнет:

— Клопы!

Конечно, сразу встревожилась бабушка, и обе они, громко переговариваясь и подозрительно поглядывая на меня, дружно недоумевали, откуда и как могли взяться клопы в нашем по-медицински стерильном жилье, ведь за всю войну ничего подобного не случалось, хотя много кто поплатился за свое легкомыслие от всяких вредоносных тварей, например, вшей, переносивших тиф.

Клопы, конечно, не вши, думал я, ну да черт их знает, а про себя припоминал, что, сказать честно, чесаться-то я принялся еще в “Прогрессе”, во время этого неудачливого “Большого вальса”, где-то к концу сеанса, но не придал этому значения, думая совсем о других вещах, думая об этих странных соседях — мальчишке, который проник в зал и посадил на коленки девчонку.

Мама в конце концов убежала на работу, наказав бабушке, чтобы та за день прошла кипятком не только мою, но и ее кровать, сменила постельное белье, а меня до школы с головы до ног осмотрела и всю одежду тоже сменила.

Перед самым маминым уходом я глупо проговорился, не подумав, что сам себе яму рою. Сказал, что кто-то кусал меня вчера в кино. Мама уставилась на меня:

— Так это ты после зубной? Вместо того чтобы на уроки бежать?

Ну и вляпался, дурак. Я стоял понурившись и слишком медленно сообщал, как же можно тут выпутаться.

— Ладно, — сказала мама, ничего хорошего не обещающим тоном, — я с этим разберусь.

Опять денек начинался хоть куда.

Перед тем как уйти в школу, я открыл свой банк — картонную коробку из-под папирос “Казбек”: черный силуэт всадника на фоне белых гор и голубого неба.

Каждый год ко дню моего рождения мама и бабушка, каждая самостоятельно, дарили мне денежки, а в день, когда мне исполнилось десять лет, мама дала мне целых пятьдесят рублей красными десятками по названию червонец. И бабушка десять рублей новыми рублями. Предполагалось, что я буду покупать в книжном магазине книжки, какие захочу, и я уже купил несколько тоненьких книжечек астронома с забавной фамилией через черточку: Воронцов-Вельяминов. Я еще думал про себя, отзовется ли этот ученый человек, если его позвать просто Воронцовым или только Вельяминовым, однако так ничего и не решил, а книжки его про Солнечную систему, про разные звезды покупал и ставил их на свою этажерку, вызывая в моих наставницах умиление и надежду, что если даже я и не стану уж совсем-то ученым и знатоком астрономии, то, по крайней мере, наберусь ума-разума. А интерес к книгам этот ум-разум, конечно же, поддерживает.

Вот и скажи им тут, что хоть и не все свое состояние из коробки “Казбека”, а только часть его, я трачу не на книжки Воронцова-Вельяминова по

60, а то и 80 копеек за штуку, а на многоразовое посещение одних и тех же кинофильмов. Хотя и по рублю за билет, но когда даже про Чапая смотришь раз по десять, то немало все-таки накапливается. Точнее, истрачивается.

В общем, я взял рубль, новенький, из бабушкиного подарка и задумался на тему, что мамини червонцы менять жалко до слез, а похоже, придется, потому что до нового дня рождения еще очень далеко, деньги нужны, и иных поступлений у меня не ожидается.

С этими мыслями и одним рублем в кармане я пошел в школу. Немного не доходя до нее, просто-таки споткнулся, хотя никаких препятствий не было. Почти всякого препятствия передо мной стояла Сима. И протягивала руку.

Я даже не понял. Думал, хочет за руку поздороваться, как взрослые, и уже подумал протянуть ей руку в ответ, улыбнуться, все-таки знакомая. Но она старушечьим голосом проскрипела:

— Давай.

— Чего? — не понял я.

— Тебе же Сева вчера велел денег принести.

Я сунул руку в карман, вынул новенький рубль и протянул его наглой девчонке. Даже усмехнулся. Просьбу или ваше требование выполняю, раз уж вам приспичило, и привет горячий. Но пигалица убрала руку за спину и спросила опять по-взрослому:

— Ты что, смеешься? Нам жить не на что!

И тут уже я повел себя как следует. Обошел ее, карапетку, и, обходя, сказал:

— Конечно, извините, но при чем тут я?

Услышал, как она проговорила мне вслед:

— Ну, погоди! Просто так не отделаешься!

И вот тут меня затрясло.

Я обернулся. Я посмотрел на эту девчонку другим совершенно взглядом. Может, это я сам подтягивался до нее, хотя она меньше меня ростом. Однако она была чем-то выше меня. Каким-то знанием, может. Каким-то чего-то пониманием неизвестного мне.

Вот я смотрел на нее, как тогда, возле кассы “Прогресса”, и чувствовал, что надо мне каким-то другим стать. Пусть ненадолго. На пять каких-нибудь минут. И попробовать понять, что же это за девчонка такая? И почему у нее полукружья под глазами сиреневого цвета? И почему она говорит, как старуха? И даже угрожает мне от имени Севки, требуя денег?

Ведь это все не просто так, и я же должен что-то сделать и как-то сказать, чтобы потом мне стыдно не было.

И я сказал, испытывая при своих словах глупое облегчение, потому что ведь я хотел ей помочь:

— Может, вам надо сходить куда-нибудь? В милицию? В военкомат?

Я просто слышал иногда от взрослых, что там помогают. И захотел тоже стать взрослым, хоть на минуточку, чтобы помочь.

Ведь мой рубль она оттолкнула, и, наверное, правильно. Одна буханка хлеба стоила на рынке множество рублей! Этого рубля и на кусочек хлеба, самый тоненький, бы не хватило.

В общем, я попробовал стать хоть на минуточку взрослым, но ничегошеньки-то у меня не получилось.

Эта кроха, эта пигалица, эта невесть какая маленькая воробиха усмехнулась по-взрослому и по-взрослому же спросила:

— Ты что, дурак?

12

А вечером произошли забавные события.

Начались они, правда, совершенно не забавно: не пришла с работы мама. Утром, еще перед школой, бабушка выдала мне свежее, хоть и старенькое белье, а пока я был в школе, перевернула всё в доме вверх дном, всё выдраила, вычистила, вымела, прошлась кипятком по всем остовам крова-

тей — железных, в основном, но погубила всего одного клопа. Однако была весьма проделанным довольна и всё повторяла, что клопы размножаются с огромной скоростью, не успеешь обернуться, и комната наша превратится в настоящий клоповник, где жить станет невозможно. Хоть на вокзал беги!

Почему на вокзал, бабушка не пояснила. Но вся так и сияла, потому что не только выполнила поручение дочки, а вообще взяла да и победила неожиданных воров. И ждала похвалы.

Вот так вот всегда все мы — и малые, и старые — ждем похвалы или, например, пятерки, если как следует выучили урок или совершили полезный поступок: уж очень нам хочется, чтобы кто-нибудь, даже самый близкий человек, оценил наши труды по достоинству и непременно похвалил.

Так что, покормив меня и три раза рассказав мне о своей героической победе над пришлыми клопами, бабушка сидела у края стола и ждала возвращения мамы.

А ее все не было. Прошли уже все сроки. Бабушка перечислила места, где мама могла застрять, — и хлебный магазин, и промтоварный, где по карточкам хоть что-нибудь да давали, и подругу мамину тетю Лену, и даже сверхурочную службу в госпитале, может, какой-то большой эшелон раненых с фронта доставили, она же в госпитале работает, — но ничто как-то не сходилась, не складывалось, не получалось.

Я терпеливо учил уроки, даже увлекся чем-то там, немножко забылся, выпетел своими мыслями в форточку, а когда вернулся, увидел бабушку одетой в пальто. Что-то она мне говорила.

Пришлось переспросить. Бабушка встревоженно и, похоже, второй раз поясняла мне, что идет искать маму, потому что, чувствует ее сердце, что-то случилось, за всю войну мама домой с работы ни разу не опаздывала, и что теперь это уже не безобразия, а, конечно же, беда, и она пробежит сейчас до госпиталя, а потом пойдет справляться в милицию, не случилось ли чего?

Я еле уговорил бабушку раздеться, успокоиться, набраться терпения, мама же взрослый человек и ничего с ней случиться не может. Все эти слова на бабушку действовали слабо. Пока я, наконец, не заметил, что будет досадно и даже глупо, если она вот сейчас уйдет, и тут же вернется мама. Бабушка — в милицию, а мама побежит вслед за ней, чтобы остановить ее и напрасно никого не тревожить.

Мама явилась с трехчасовым опозданием! Чрезвычайное для нас происшествие.

Но еще удивительнее, какой она явилась.

Пришла — и смеется. Радостная такая! Будто в гостях была! Да что в гостях, будто на балу каком званом! Но какие времена-то у нас? Что такое бал, в сказках только читали про принцесс и принцев!

В общем, на пороге мама расхохоталась, будто никак не ожидала увидеть нас с бабушкой, — такой, наверное, у нас вид был, — сгребла нас обеими руками, скинула на сундук пальто свое, ветром подбитое, как бабушка выражалась, и, даже ботинок не сняв, чего от других терпеть не могла, уселась на стул и принялась рассказывать.

Я бы, случись это со мной, доложил все в трех словах. Но мама говорила как-то азартно, увлеченно, даже восторженно, с подробностями, на мой взгляд, совершенно несущественными, но для нее очень приятными.

Итак, она весь день злилась на этот всем известный “Прогресс”, питомник кровососущих насекомых, обдумывала, как она пойдет туда сразу после работы и устроит скандал.

С воинственным настроением, собираясь пробыть там не больше десяти минут, после работы она побежала к “Прогрессу” и застала его врасплох.

На кассе висела табличка “Все билеты проданы”, дверь в фойе была закрыта, свет там пригашен и никого не видеть. Мама постучала и раз, и два, и три. Наконец появилась шустрая тетка, которая, увидев, что стучит взрослая, строго одетая и чем-то озабоченная женщина, тут же маме заулыбалась и, отворив дверь, вежливо ее пригласила внутрь.

Это маму смягчило. Она назвалась медиком, сказала, что в “Прогресс” часто ходит ее сын, то есть я, и что я принес домой клопов, и это ее трево-

жит, потому что если они и в самом деле развелись в кинотеатре, то это безобразие и серьезное нарушение.

— Кинотеатр ведь и закрыть могут! — встревоженно, как бы переживая за “Прогресс” и всех, кто тут работает, воскликнула мама.

Мама, как ей казалось, с первых слов выбрала верный тон разговора: беспокойство за меня, ее сына, за судьбу кинотеатра и тех, кто тут работает. Получалось так, что мама пришла всем на помощь.

Женщина эта, судя по описанию — тетя Муся, усадила маму на стул, исчезла в темном зале и вывела оттуда Нипалну.

Маме пришлось повторить все сначала, и Нипална загорюнилась:

— Ой, милая женщина, да мы-то знаем! Сами мыкаемся! Но молчим! План надо выполнять, и если закроют на карантин, что будет? Куда нас?

Тем временем тетя Муся принесла железные кружки, и они добродушно выпили чайку на брусничном листе. И мама опять принялась огорчаться вместе с ними.

Оказалось, все они заодно, и жалко закрывать этот старый, прогнивший, в общем-то, кинотеатр, и клоповник, конечно же, и зал тут душноватый, и печки зимой приходится топить, никакого тебе водяного отопления, как полагается.

— Но он нам как живой, — сказала маме тетя Муся. — Зимой от морозу потрескивает. Весной, когда снег тает, поплакивает. А летом задыхается.

— Вот наговорим на него, да возьмут его и вовсе закроют, — говорила Нипална. — Да еще, не дай Бог, на дрова разберут.

Вот после этих слов мама с ними совсем подружилась. Пожалела “Прогресс” и поняла женщин.

И тут они ее пригласили на “Большой вальс”. На следующий сеанс. И не куда-нибудь, а в ложу. Была, оказывается, в “Прогрессе” маленькая ложа на четырех человек, закрытая темно-малиновой, под цвет вишневых стен, занавеской. Я сколько там ни был, никогда и не замечал этой ложи.

— И вот! — воскликнула радостно мама. — Я! Одна! Как какая-то барыня! Сидела в этой ложе! И наслаждалась! Ах, какой фильм! Какая любовь! Какая музыка!

Мне бы радоваться, а я досадовал. Это надо было маме найти клопов в моей кровати, обозлиться на старый, ни в чем не повинный кинотеатр, чтобы понять, по какой такой причине я трачу свои небольшие рубли на всякие необыкновенные фильмы! Надо же!

Но взрослые так часто не понимают других!

А порадовался я чуть позже. Почти ночью. Когда мама стала ложиться спать, она зачесалась, приподнялась, включила снова свет, уже погашенный, и крикнула, как утром:

— Клопы!

Трудный ей выдался день. Клопы утром и клопы вечером. А посередине чарующие звуки вальса и возвышенная ненашенская жизнь!

13

В зимние каникулы победного года учительница Анна Николаевна, чтобы, наверное, мы не шлялись в безделье по городу, повела нас организованно в кино. А выбрала “Великий перелом” про победу под Сталинградом.

И хотя кино это, в общем, не предназначалось детям, а было очень серьезным и взрослым, она нам объяснила, что есть вещи, которые должен знать и видеть и стар, и млад, независимо ни от чего. День и начало сеанса она объявила еще до каникул, наверное, договорившись с кассой заранее, так что приходиться было нужно в обязательном порядке, как на урок. Да и деньги на билеты — все по тому же неизменному рублю — собирали заранее.

В общем, к 11 утра какого-то там января я пришел к “Прогрессу”, и сразу же к нему причалил мой дружок Вовка, подтягивался и остальной народ. Девчонки стояли своим кружком, о чем-то перешептывались, перемигивались, пересмеивались, а мальчишки стали толкаться, чтобы согреться.

Мы с Вовкой расположились слегка обочь, смотрели на это суетное приготовление к сеансу, и вдруг меня кто-то резко дернул за рукав.

Я чуть не свалился.

— Ну давай, давай, а то я заждался, — говорил мне Севка таким голосом, будто мы с ним только что о чем-то договорились.

— Чего? — спросил я, догадываясь.

— Денежку! Чего-чего! — грубо и зло ответил он.

Денежек у меня было всего рубль, я теперь больше-то и не брал, но этот рубль ничего бы не решил, и дураку ясно. Я лихорадочно соображал, как мне отделаться от Севки — раз и навсегда, но ничего у меня не получалось, никаких серьезных мыслей не приходило. Одна, правда, вертелась: сейчас он снова заставит меня выворачивать карманы, но теперь это обернется для меня непрощаемым позором, потому что произойдет на глазах у всего нашего класса — и у девчонок, и, особенно, у мальчишек. Что потом будет со мной?

И тут случилось нечто невероятное. Кто-то мягко отодвинул меня в сторону. Этот кто-то был Вовка. Вовка шагнул к Севке, который на голову выше моего дружбана, а если считать по классам, так и класса на три постарше. И Вовка сказал Севке каким-то не своим, измененным, тягучим, а от того хулиганским, даже слегка блатноватым голосом:

— Ну чё ты, чё ты, пацан, — проговорил Вовка, наступая на Севку, — все тянешь и тянешь.

Вовка медленно шел на Севку, а одна рука у него была в кармане пальтеца, и чего-то такое оттуда топырилось острым таким концом. “Уж не нож ли? — подумал я и поразился: — У Вовки нож?”

Однако вещь, оттопыренную в кармане, заметил и Севка. Она его явно насторожила. И он сделал маленький шагок назад. Этот шагок оказался его поражением, а Вовка — ну, Вовка! — восхитил меня.

— Ты чё, малый, — говорил он не своим голосом, — не усёк, на кого прёшь? С кем связываешься?

И тут он выхватил руку из кармана и вытащил опасную мужскую бритву. Еще миг, и в воздухе мелькнуло лезвие.

— Рви отсюда, — просипел Вовка. И добил — не столько Севку, сколько меня: — Попишу, пацан!

Севка, между тем, был не один. За ним стояли еще трое огольцов, ну и верная Симка. Своими спинами Севка и Вовка закрывали то, что было между ними — опасную бритву. Ее никто не видел, кроме них да меня, прикрывавшего собой еще одну, третью сторону.

Так что его команда так и не поняла, почему Севка отскочил от нас, будто ужаленный. И Вовка тут же захлопнул бритву. Еще мгновение, и он сунул ее в карман.

Итак, никто из Севкиной компании не увидел, что произошло. Они не поняли, чего так стухнул их предводитель. Но просто так ничего не бывает. А Севка отбежал и остановился позади них. Зато наши мальчишки очень ясно рассмотрели позорное отступление перед Вовкой какого-то большого парня. И в ту же минуту Анна Николаевна, появившись в двери, крикнула, чтобы мы заходили.

И наши ребята радостно к ней рванули. Представляете? В классе военных времен было под сорок душ, и если даже половина — девчонки, то второй половиной были мальчишки. И все они, пробегая мимо нас, старались воздать должное победителю — то шлепнуть ладошкой, то прикоснуться локтем, то легонько ткнуть кулаком.

Последними ушли мы.

Окинув поле переговоров, на всю жизнь запомнил я эту немую сцену: Севкины пацаны, Сима, затёрханная какая-то, похоже, даже не умытая с утра, и выглядывающий из-за них позорник Севка в тощем, сильно изношенном старом треухе.

— Гляди! — грозным голосом крикнул ему на прощанье Вовка. — Не останешь, я братьев позову, они у меня все контуженые, за себя не отвечают!

Мы стремительно ушли, уселись, началось кино. Меня трясло, просто колотило от возбуждения. В перерыве после киножурнала в зал, причем

вполне официально, вошла Севкина команда, слегка увеличившаяся, между прочим.

Мы напряглись. Да так, что только к концу фильма я стал хоть что-то соображать. А ведь кино-то про Сталинград. Про великий перелом.

В какой-то миг я посмотрел на Вовку и разглядел в темноте, что глаза у него полны слез. Я приблизился к его уху, шепнул:

— Ты чего?

— Да зачем я про братьев?! — шепнул Вовка.

И правда, зачем. Единственный брат, намного его старше, погиб, и совсем недавно, и все об этом прекрасно знали, потому что он, как и Вовка, учился раньше у нашей Анны Николаевны.

Я нашел в темноте Вовкину руку, разлепил слипшиеся, потные его пальцы, и пожал ему лапу. И увидел, как благодарно, слегка улынувшись, кивнул мне Вовка.

14

В тот раз почти все ребята принесли в дом клопов для развода, а числа двадцатого января мы с Вовкой по своей же воле оказались в совершенно ужасной передрыге.

Еще на первом уроке он сообщил мне, что с сегодняшнего дня в “Прогрессе” пошла совершенно мировецкая картина “Джордж из Динки-джаза”. Слово “джаз” мы еще до конца не раскусили, не было вокруг нас ни единого взрослого, который бы толком объяснил, что это такое и почему так волнуют его скрипучие, нахальные звуки, издаваемые невиданными в нашем городе инструментами. Хотелось от этого джаза приплясывать, припрыгивать, качаться и даже вскакивать — правда, не станешь же вскакивать в кино. Однако ведь в “Большом вальсе”, где скрипки играют вальс, вскакивать не хотелось. И вообще! Там следовало наслаждаться и нежиться, а здесь что-то делать, двигаться. Одним словом, не сидеть!

Еще в “Серенаде Солнечной долины” нас пленила эта музыка и эти что-то раздражающие в нас звуки. А тут! Так и называется: Джордж из какого-то Динки-джаза.

И мы рванули туда после уроков.

Увы, нас встретила знакомая вывеска “Все билеты проданы”. Возле кассы толпилось полно взрослых, в том числе военные, они о чем-то шутили с невидимой кассиршей, требовали, чтобы им дали хоть приставные места, и были не одни, а с молодыми женщинами, и все вроде слегка навеселе. Но билетов не было! А народ все валит: заходили в это затоптанное помещение, узнавали, что пришли напрасно, чертыхались — и женщины, и откуда-то взявшиеся мужики в штатском, — чувствовалось все-таки приближение победы! — разворачивались, уходили, и мы с Вовкой впервые оказались рядом с лукавыми маленькими девчонками, ждущими звонка. Была тут и Симка.

Она брезгливо посматривала в нашу сторону. Не испуганно, а именно брезгливо. Но мы, преодолевая всякие там несущественные чувства, переступали с ноги на ногу, неизвестно чего дожидаясь. Просить, как эти девчонки: “Тё Мусь! Тё Мусь!”? Но дозволенное маленьким девчонкам было постыдно нам, без пяти минут четырехклассникам.

Повздыхав, мы вышли на улицу и нос к носу столкнулись с Севкой.

— А! — сказал он без всякого вдохновения, увидев Вовку и меня. — Билетов нет?

— Нет, — сказал я, глядя на Вовку, отвернувшего лицо.

— Есть два выхода! — сказал Севка. — Первый. Вот два детских билета по пятерке. Хотитекупить?

Я посмотрел на Вовку, но он пожал плечами. Червонец на двоих лежал в моем “Казбеке”, слишком далеко, что во-первых. А во-вторых, кто же станет тратить такие деньжищи?

— Второй выход, — сказал Севка. — Вы гоните рубль, Сима проходит

в зал и открывает нам дверь. Спрятаться будет трудно. — И вызывающе, наверное, не сомневаясь, что мы откажемся, прибавил: — Но можно.

Мы с Вовкой переглянулись. Скользящая ситуация. Ведь мы с этим Севкой самые что ни на есть враги. Но вот он предлагает нам сплотиться. Может, загаскивает в какую-то ловушку, чтобы за последнее отыграться?

Вовка помолчал и спросил:

— А ты сам пойдешь с нами?

— Зачем? — весело ответил Севка. — У меня же еще билет есть. Когда вы прорветесь, один из вас сядет с Симой, ты, например, — показал он на меня. — А другой — со мной.

— Тесно, — вздохнул я.

— В тесноте да не в обиде, — хмыкнул Севка, боясь нас спугнуть. — Но — чур!

— Чего еще? — скривился Вовка.

— За этот-то, второй билетик, тоже нужен рубль!

Вовка посмотрел на меня, кивнул головой, пойдём, мол, отсюда. А Севке бросил:

— Ты нас совсем за мальков держишь!

— Погоди, погоди, — спохватился Севка. — А ты как предлагаешь?

— А я предлагаю, — твердым, умным голосом произнес Вовка, — что по второму билету пойду, например, я. А то какая гарантия, что вы дверь-то откроете?

— Да ты что! — вскипятился Севка. — Погляди, какая у меня толпа? Они все ждут. Только им придется по полу лазить, а вам я предлагаю сидячие места.

— Если мы платим деньги, — голос Вовки был по-прежнему твердым и умным, как у взрослого, — значит, по билету пойдет один из нас.

— Хрен с вами, — взъелся Севка. — Только деньги вперед!

И мы передали ему два рубля в обмен на один голубой билет.

Вовсю бренчал зазывной звонок, я тревожно смотрел вслед Вовке, уходящему вместе с Симой. Потом, вздохнув, пошел за Севкой.

Во дворе кинотеатра он уверенно указал дверь, которую откроет Сима, купленные места опять были крайние к выходу, и я удивился про себя, как это им так удается?

Надо признаться, я сильно волновался. Хочешь — не хочешь, я должен переступить закон. Ну, не закон, так нарушить правила. Даже, может быть, украсть — ничего себе! Украсть всего-то-навсего рубль, который стоит билет, продаваемый в кассе, но который я не мог купить, потому что все билеты проданы.

В этой цепочке причин и следствий было, конечно, что-то меня извиняющее.

Да я же и хотел бы купить билет! Чин-чинарем, по всем законам, а мне не досталось. А кино хотелось поглядеть до смерти! Вот тут и думай, где и кто что нарушает. А может, этот старый “Прогресс” все нарушает? Что он, не мог быть пошире, подлиннее, а может, и вообще покаменнее?

Отгремели звуки журнала, за бревенчатой, коричневой от старости, стеной зазвучали звуки джаза — наверное, пошли титры. Дверь тихонечко приоткрылась, и я вслед за Севкой бросился во тьму. Конечно, я ничего не увидел, почти, можно сказать, ослеп. Но кто-то потянул меня за руку, и я оказался в кресле рядом с Вовкой. По соседству тяжело дышал Севка. А по залу, пусть и негромко, стучали шаги остальных контрабандистов.

И тут это случилось!

Вспыхнул свет, Нипална заорала и побежала под экран. Кино остановилось. Послышались какие-то шаги из фойе, и в зал вошли три милиционерши, много женщин работало в войну милиционершами. Они двинулись к выходу и перекрыли дорогу к побегу — настоящая облава. А Нипална приказала всем, кто незаконно ворвался, лучше выйти подобру-поздорову.

Севкина компания послушно вылезла из-под кресел, вышла из рядов, скучковалась у одной двери.

— Сидеть! — шептал Севка на соседнем месте. — Виду не подавай!

Но Нипална, опытный человек, похоже, всерьез готовилась к операции. Она пошла вдоль рядов, бдительно вглядываясь, где есть лишние зрители, и, конечно, добралась до нас — не зря же мы сидели рядом с выходом.

— Вот ты где, — сказала она, обращаясь к Севке. И крикнула милиционершам: — Вот тут главный закопёрщик. Берите его!

Севка встал, а Сима заплакала. Она держала в руке свой билет, будто его кто-нибудь требовал предъявить, и говорила:

— Нипална! Нипална!

— Что Нипална! — рассердилась она. — У тебя билет есть, вот и сиди. Никто тебя не гонит. Не то что твоего братца!

И тут же махнула рукой нам с Вовкой, мол, кто из вас безбилетный, шагай отсюда. Я поднялся.

Все это время зал не был равнодушно-спокойным. Сначала все эти люди, взрослые и малые, с интересом наблюдали за происходящим. Но потом как-то враз — мне показалось, все до единого! — закричали, засвистели и затопали ногами. Я покрылся потом, покраснел. Но кому это было видно в кое-как освещенном зале? А я был уверен, это свистят и топают ногами лично и одному мне.

Дверь распахнулась. Милиционерши, все какие-то похожие — полногрудые, коротконогие, коренастые, — хватили нас за воротники. Каждая вела двоих мальчишек, девчонки, их было трое, всё те же, знакомые мне из кассового зала, самостоятельно двигались впереди, и мы отправились в милицию.

Отделение располагалось совсем неподалеку, в здании, пристроенном к старинной пожарной каланче, с которой, как и до революции, дежурные наблюдали, не поднимется ли над каким деревянным домом дым, означающий беду.

В беспечные часы мы называли ее каланчевой милицией, но теперь для меня настало совсем другое, нешутейное время. Пожилая и злая тетка в форме, ухватив за воротник, посреди дня волокла меня в милицию.

Другой рукой она вела Севку. Плюс еще две тетки да три девчонки.

“Прогресс”, как я уже говорил, стоял вблизи оживленного перекрестка не менее оживленных улочек, и на шествие это встречный народ не просто удивленно глядел, а изумленно пялился.

Еще бы, схватили сразу девятиерых! Еще детей, но уже...

А что — уже? И когда догадывались, что мы из “Прогресса” — а откуда еще? — то одни охали, другие хохотали, а третьи свистели.

— Ну этот Джорж! — крикнул какой-то подвыпивший дядька. — Из Нинки-джаза!

Джаз ему был понятен, надо же, а что такое Динки? Вот и переделал в Нинку, да и правила-то там Нина Павловна!

В общем, я проделал позорные метров двести. На повороте в меня уставилась Нинка Правдина из нашего класса, к которой меня пересадит после этого случая для перевоспитания наша Анна Николаевна.

Кто-то из встречных парней, уже взрослых, почти призывник, увидев наше шествие, смекнул и крикнул:

— Девчонки! А вы-то бегите!

— Я вам побегу! — крикнула наша мильтонша, но чего они могли сделать, наши охранницы? И девчонки, пройдя еще шагов десять и подумав, вдруг разбежались кто куда, и парни засвистели, закричали взбудоражившимся милиционеркам:

— За что детей-то волокете? Волоките нас!

15

Бросая прощальный взгляд на волю, обернувшись назад перед входом в милицию, я увидел Вовку и Симу. Оба они смотрели на нас глазами круглыми, непонимающими, но — как оказалось! — спасительными.

Милицейское отделение было просто обшарпанной комнатой со скамейками вдоль стен, куда нас и посадили. В углу, под окном, стоял конторский

стол, а за ним сидел дядька в форменной кубанке и с погонами, тоже милиционер, но совсем уже старый, с вытянутой, лошадиной, худой физиономией — наверное, еще подумал я, такими и должны быть настоящие милиционеры — для устрашения.

Дядька этот курил сигарету, вставленную в длинный, из наборного цветного плексигласа, мундштук, и я подумал, что так же, наверное, курят табак какие-то восточные падишахи. Только обстановка у них все-таки другая: не замызганный конторский стол перед ними, а столик, полный восточных фруктов, и не коротконогие милиционерши вокруг, а юные красавицы в прозрачных одеяниях.

Это я тогда осваивал детское издание книги сказок “Тысяча и одна ночь”.

Однако воображение мое оказалось слабовато против правды жизни. Милиционерши никак не хотели превращаться в обворожительных красавиц, наоборот, с каждой минутой становились как будто всё приземистее, злее и крикливее.

Та, что волокла за воротники нас с Севкой, кричала старику-начальнику, что мы давно известная в “Прогрессе” шайка, что не даем этому учреждению спокойно работать и демонстрировать кинокартины, выполняя производственный план, что приемы, применяемые нами, носят совершенно бандитский характер: мы врываемся в дверь, значит, мы — налетчики.

Дядька невозмутимо дымил мундштуком и молчал, а чем дольше он молчал, тем больше распалась гневная командирша, которой остальные тетки подраживали:

- Да, да!
- Конечно, конечно!
- Надо же!

Наконец, начальственный мужик потянулся, встал из-за стола, подошел к нам и уселся на лавку поближе.

— Ну это же непорядок, огольцы! — проговорил он голосом прожженного куряки. — А?

— Денег у нас нету! — дерзко сказал Севка и отважно посмотрел в глаза старшему милиционеру.

— Денег? — переспросил тот, не сильно удивившись. И спросил Севку: — А сколько билет-то стоит?

— Рупь, — с готовностью ответил тот.

— Всего? — удивился дядька и, словно проверяя Севку, обратил лицо к своим соратникам.

— Детский билет стоит один рубль, — отчеканила все та же, что докладывала о нас. — Взрослый — пять рублей.

— И нет рубля? — удивился мильтон, правда, тут же себе самому и ответив: — Да откуда?

Потом опять на нас воззрился. Каждого внимательно оглядел. И о каждом какое-то заключение составил. Сказал как-то не торжественно, по-свойски:

— Ну вот! Начнем мы сейчас на вас протоколы составлять! Знаете ли, что это такое? Каждому по месту учебы должны будем сообщить. Шутка ли? За вами приглядывать станут. Попадете в число ненадежных. А что это значит? Ответишь на тройку, а тебе, на всякий случай, для воспитания, двойку поставят. Что-нибудь в школе случится, не дай бог. Шапку, допустим, украдут. На тебя укажут. Проверьте, мол, он уже в отделении бывал. На учете.

Старик опустил голову, глядел в пол, не о нас думал, о чем-то своем, далеком от здешних мест — сразу ясно.

Потом спросил досадливо:

— Они что-нибудь украли?

Явно не нас спрашивал. Милиционерши хором ответили:

— Нет!

— Урон “Прогрессу” нанесли? Стул, может, сломали? Или еще что такое? Материальное?

— Нет! — опять ответили тетки.

— Значит, их единственная вина в том, что они безбилетно прорвались в зал? Так? Кино посмотреть! Какой фильм-то?

— “Джордж из Динки-джаза”! — радостно подсказал Севка.

— “Джордж” какой-то! — воскликнул милиционер. — Черт бы его побрал! И из-за этого, прости Господи, Джорджа! Мы! Тут! С вами!

— Да не, дяденька! — вдруг вспыхнул Севка. — Джордж этот мировой мужик! Он там! С балалайкой этой! В кино-то! Гитлеру морду бьет!

Старик будто споткнулся.

— Не врешь? — спросил. — Бьет Гитлера?

— Прямо в харю! — твердо ответил Севка и встал. И милиционер встал.

— Вот видите! — произнес, ни к кому не обращаясь. — Гитлеру в харю! Да кому этого не охота поглядеть? И мне охота! Что за грех-то? Конечно, нехорошо так, дверь с крючка, понимаешь. Но в милицию? Ремнем их, да и всё!

При этих словах будто из-под земли выросла моя мама.

— А в чем дело? — спросила воспаленно. — Неужто уже ремнем в милиции детей воспитывают?

— Да не-ет! — воскликнул милицейский старикан. Похоже было, он даже чуточку испугался ее неожиданного явления. — Это дело отцовское!

— А где они, отцы-то? — не успокаивалась мама. — Они на войне! Вместе со своими ремнями! Чего же вы желаете? Чтобы мы, бабы, еще и ремни в руки взяли? Против своих же собственных детей?

— Ладно, ладно, женщина, — как-то смягчился старикан.

Вырисовывалось такое впечатление, что он не хочет никакого скандала, никаких объяснений, ничего не хочет лишнего.

— Который тут ваш? — спросил маму примирительно. Она оглядела нас — на меня указала.

— Пожалуйста, — сказал начальник, — паспорт предъявите.

Вот когда я вздрогнул-то. Всё ведь хорошо, в общем, складывалось, и после уличной позорной прогулки ясно было, что старый милиционер теток своих притормаживал. А теперь снова, что ли?

Но он посмотрел мамину книжицу, полистал, спросил коротко:

— В госпитале работаете?

— Да, — ответила мама. Она тоже что-то такое поняла, взяла себя в руки.

— Муж на фронте? — совсем мягко, вкрадчиво даже спросил.

— Дважды ранен, — ответила мама и заплакала. Вот уж!

Теперь, из очень взрослого своего далека, хочу признаться, что эти слова — “дважды ранен” — и слезы мамы ударили меня похлеще самого жесткого ремня.

И ничего я такого худого еще не успел сотворить в короткой своей жизни, и за грех отвечал ничтожный — но как отвечал! Мамиными слезами! И этим совершенно не милицейским аргументом про отсутствующего тут отца: дважды ранен!

Вроде как своими ранениями, будто наградой, что ли, какой-то такой кровавой заслугой отец за меня ручался.

“Не хочу!” — хотелось мне крикнуть.

И еще мне было нестерпимо стыдно, что мама меня так защищает.

Я не хотел этого! При чем тут отцовские ранения! Неужели надо так оправдывать меня из-за того, что мне всего-то-навсего не терпелось посмотреть “Джордж из Динки-джаза”! Да там еще, оказывается, Гитлера в морду бьют!..

Я едва держался, чтобы не зареветь! Чтобы не взвыть волчонком. На самом краю своих слез стоял.

Меня спасла старуха.

В черной замазанной, блестящей от какого-то вонючего раствора телогрейке, с лицом, тоже черным, то ли от того же масла, а то от угля, появилась она у порога. Рядом с ней стояла Сима.

— Вот и еще одна мамаша, — сказал примирительно милиционер.

— Мамаша у них померла в блокаде, — сказала дребезжащим голосом старуха. — А отец лег еще в сорок первом. Я им бабка, да вот только не поспеваю приглядывать. Потому как работать приходится. Смазчица я вагонов.

И заплакала. И сказала еще:

— А поезда-то идут. Не остановятся!

16

Вот, собственно, и вся история о старом кинотеатре с таким обнадеживающим именем.

Немолодой милиционер вернул маме ее паспорт, а вместе с ним и меня, и мы ушли, не дожидаясь, как определится судьба остальных.

После каникул “Прогресс” закрыли на карантин. Вовка говорил, что, когда проходит мимо, на него дует какими-то вонючими запахами. И беспокоился: не провоняет ли кинотеатр так, что в него и бесплатно никто не пойдет. Но после карантина его закрыли на ремонт. Новые запахи — свежеего дерева и красок — как в школе накануне всякого учебного года, перекрыли запах хлорки. Наш милый, добрый “Прогресс” походил на дедушку, который заболел, и этим нас страшно напугал, но теперь вот уверенно поправлялся. Однако мы не ждали его выздоровления.

Я менял свои рублики и вслед за брошюрками о звездах Воронцова-Вельяминова стал покупать книжки подороже и посolidнее, при этом заметив одно любопытное правило: как только я тратил на такие дела чуть больше денег, так они немедленно ко мне откуда-нибудь возвращались. Или мама давала, или вдруг у бабушки оказывался некоторый избыток, которым она ласково делилась со мной.

А в шестом классе я послал заметку в “Пионерскую правду”. Вот было чудо! Ее не только напечатали, но прислали мне зачем-то десять рублей, и я впервые услышал слово “гонорар”. Это деньги, которые платят тем, кто умеет писать.

И конечно, я тратил деньги на кино. Не дожидаясь, когда отремонтируют “Прогресс”, мы осваивали иные кинотеатры. Это только до пятого класса удавалось ходить туда по рублевым билетам. Чем дальше ты рос, чем больше становились твои ботинки, длиннее твои штаны и шире рубашки, тем дороже оказывались билеты в кино.

Да и не хотелось быть вечно малышом.

Хотелось поскорее стать взрослым, и скоро за билет в кино с непонятной себе же радостью приходилось отдавать уже пять рублей.

Но сколько же чудных фильмов мы с Вовкой увидели тогда! Не только увидели! Увидели-то не один раз!

Мы влюблялись в героев и героинь, а значит, в артисток и артистов, которых тут же бы узнали, встретить их на улице.

Эти незнакомые нам мужчины и женщины снились нам в наших, уже не вполне детских, снах. И мы, мальчишки — и девчонки, наверное, тоже, — искренне верили, что рано или поздно, здесь или там мы встретим сами таких чудесных красавиц или красавцев, как Дина Дурбин из фильма “Сто мужчин и одна девушка”, Дуглас Фербенке из “Багдадского вора”, олимпийский чемпион по плаванию Вайсмюллер, герой многосерийного и незабвенного “Тарзана”, мужчина, который не только стал мечтой девушек, но и героем для подражания огольцов холодных послевоенных времен.

И еще один фильм прошел, зацепив не столько собой, — хотя и был он сказочно чудесным, — сколько поразительным знанием, которое пришло позже.

Это “Девушка моей мечты” с Марикой Рокк в главной роли. Вот эта картина точно была трофеем. Ее сняли в Германии, в том самом 1944 году, когда мы с Вовкой особенно любили “Прогресс”. И прекрасная австриячка Марика не выходила из моего еще детского, но быстро взрослеющего сознания, окатывая, как холодной водой из бадейки, столь же обжигающим вопросом: неужели и в самом деле где-то есть такие девушки?

А вот знание, пришедшее не один год спустя.

Этот фильм любил Гитлер.

Как и мы, он много раз подряд смотрел “Девушку моей мечты”!

Что же выходит? И преступники, и дети одинаково восхищаются одним и тем же?

Или просто — все равны перед совершенством красоты? И преступники, и дети?

17

Немало лет пробежало.

Я закончил школу, уехал в университет, а на первые же зимние каникулы вернулся домой к матери, к бабушке, к отцу, благополучно пришедшему с войны.

Мне хотелось что-то приятное сделать родным, чем-то их угостить, например, сладеньким, и, едва переодевшись, пока все, кроме бабушки, были на работе, я побежал в гастроном, теперь торгующий без всяких карточек.

В кондитерском отделе я выбрал торт, соответствующий моему кошельку, пробил деньги в кассу и попросил продавщицу этот торт мне выдать.

Продавщица была совсем молоденькая, можно сказать, девочка — белый халат был ей сильно великоват, так что она закатала рукава, да еще и закрепила их булавками. На это я и обратил внимание, не очень вглядываясь в лицо.

Отдавая мне торт в серой картонной упаковке, продавщица на мгновение задержала руку, и вдруг я услышал:

— Эй! Джордж!

Я даже чуть-чуть обернулся, кого-то так странно зовут? Но продавщица повторила:

— Джордж из Динки-джаза!

Я вгляделся в нее. Господи! Да это же Сима! Маленькая востроглазая девчонка вызывающе разглядывала меня и улыбалась.

И я, глупый и гордый, рассердился.

Вместо того, чтобы спросить, как жизнь и где теперь неутомный Севка, я сказал:

— Да я не Джордж! Я просто Колька! Николай. Привет!

18

И я ушел. И Сима с Севкой отошли в сторону от моей жизни.

Как безвозвратно отошло детство.

А “Прогресс” еще долго стоял в самом центре нашего города. И новые ребята бегали в него.

Появился телевизор. Исчезли очереди в кинотеатрах. Настало время смуты, когда кино не любовь и мечты стало дарить людям, а что-то другое. Страх, может быть...

Став взрослым, я уехал в другой город, и иная, взрослая жизнь заполнила меня собой. Но всякий раз, приезжая домой, я подходил к “Прогрессу”, ласково хлопал его по высохшим бревнам стен и говорил шепотом:

— Спасибо, старина! Спасибо, старый волшебник! Ты столько подарил нам добрых чувств!

Он молчал в ответ. Но это только кажется, что молчал.

Он желал мне добра, как и всем, кто был тут в разные его лета.

Однажды я приехал в родной город и пошел, как обычно, прогуляться. Путь мой непременно пролегал и к “Прогрессу”. Но когда я пришел туда, где он должен был быть, его не оказалось.

Стояло щедрое лето, и на его месте вымахала крапива. И еще густой иван-чай. Он вырастает на месте пожарниц.

Какой-то мальчик проходил мимо, и я спросил его:

— А что случилось? Где “Прогресс”?

— Простите? — вежливо сказал мальчик. Он был воспитанным человеком. И я сказал ему два слова о кинотеатре.

— Я не знаю, — ответил он. — Никогда там не был.

И тогда я остановил старика. Он и сказал мне, что “Прогресс” вспыхнул от короткого замыкания и сгорел дотла. Скоро здесь проложат дорожки. Решено расширить сквер.

19

И я подумал, что зря не позвал тогда Симу в кино.

Было еще не поздно. И “Прогресс” стоял на месте. И можно, наверное, было посмотреть что-нибудь из старых фильмов.

И дело не в Симе. Дело в “Прогрессе”. Он еще был жив.

И еще недалеко ушло от нас тогда наше детство...

А тот Джордж действительно набил морду Гитлеру. Только во сне. Да и играл он не на балалайке, а на банджо. И весь фильм был, конечно, выдумкой.

Но как же мы хохотали!

Как верили в это наказание — праведное и великое: прямо в харю!

